

15 января 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения прекрасного русского писателя, лауреата Государственной премии и многих литературных премий, награждённого 26-ю орденами и медалями, ветерана войны, Героя Социалистического Труда, члена Академии Российской словесности, Почётного гражданина г. Курска Евгения Ивановича Носова. Его друг, писатель Виктор Астафьев, назвал его первым рассказчиком России. А другой прозаик, Виктор Политов, сказал, что повесть “Усвятские шлемоносцы” (она вместе с широко известным рассказом “Красное вино победы” вошла в многотомник “Шедевры русской литературы XX века”) — это наши святцы, её надо издать в переплёте с золотыми застёжками... Язык Мастера называют златотканым, парчой высокой пробы. Своим учителем в литературе его считают многие писатели России.

Произведения Е. И. Носова печатались миллионными тиражами, по ним ставились кинофильмы и спектакли, делались инсценировки на радио. Они изучаются в школе, по ним пишут дипломные работы студенты, по ним защищают диссертации.

В 1970–1980-е годы его переводили во многих странах на языки народов мира — немецкий, английский, японский, венгерский и др. Легче назвать страну, где не было таких переводов. Его творчество интересно любому народу, потому что касается тем, предельно близких любому человеку, — это добро и зло, война и мир, труд на земле, любовь к природе и родному краю, душа человека, его чувства и мысли, мир детства, трогательный мир “братьев наших меньших” — зверей и птиц. Его страницы наполнены светом, добротой, они учат радоваться жизни и преодолевать трудные её моменты.

Широко известны рассказы и повести писателя: “Шумит луговая овсяница...”, “За долами, за лесами...”, “Храм Афродиты”, “Потрава”, “Домой, за матерью” и др. В 1980–1990-е годы им создано много новых произведений, которые ещё не очень широко известны читателю и не переводились за рубежом. Это “Аз-буки...”, “Кто такие?..”, “Красное, жёлтое, зелёное...”, “Греческий хлеб” — о детстве; “Тёмная вода”, “Карманный фонарик”, “Алюминиевое солнце” — о жизни деревни; “Памятная медаль”, “Хутор Белоглин”, “Синее перо Ватолина”, “Фагот” — о войне и др. Очень бы хотелось, чтобы не только российские читатели, но и жители зарубежных стран узнали и полюбили эти произведения.

Начинаю свои записи в очень трудное для себя время, когда жизнь вдруг стала терять смысл, когда душа заглодела, когда сердце вдруг стало всего

бояться и вздрагивать даже не от какого-либо события, а лишь от его предощущения. Теперешнее состояние и навело меня на уход от сомнений — писать или не писать воспоминания о самых счастливых моих годах. Может быть, кто-нибудь, прочитав мои страницы, поймёт, насколько трудно быть счастливым и насколько это... просто и легко. И сам сумеет прийти к счастью.

Минуло 17 лет со времени ухода Евгения Ивановича Носова... Боль от потери не ушла, она постоянно обжигает душу невозможностью его возвращения. Самой уже за 70, а всё не могу понять — вот же та скамья, на которой мы рассматривали фотографии по фильму “Родник”, вот ещё уцелевшие домики на курских улицах, которые мы так любили фотографировать, берёзы у его дома на Красноармейской, где он бегал мальчишкой... А его самого нет. Улыбается с фотографий, говорит с экрана со студентами, но экран гаснет — и пустота. Конечно, спасают его страницы. Читаешь — и будто снова с ним говоришь, слушаешь его удивительно тёплый, добрый голос, в котором чувствуется неуходящая сердечность, желание понять, почувствовать собеседника. “Так и не поговорили...” — его фраза, которую я уже где-то приводила. Она звучала почти всегда, когда к вечеру завершалось наше очередное путешествие по лугам, лесам и речкам, ставшим нам родным домом.

Я приведу здесь свои горестные записи, которые в каком-то беспомоществе делала на работе, сидя в музее у подоконника, когда прибегала от закрытой двери в реанимации областной больницы. Мне кажется, после них любой человек поверит в искренность чувств, которые мне, по-видимому, были даны свыше и которые сделали меня счастливейшим человеком на 20 лет рядом с ним и, несмотря на горечь утраты, вот уже на 17 лет после его ухода. Хотя это и не уход вовсе, а, наверное, переселение его души в мою, настолько они были одинаковыми. “Наши души, увы, не привыкли к разлукам...” — писала Цветаева. Так и у нас. А потому я продолжаю жить его миром, его радостями, его творчеством. Дороже у меня ничего нет, и мне неизменно хочется дарить его мир другим... Отсюда — книги, передачи, беседы, вся работа, которой просто не может не быть, и её не может быть много, в чём меня нередко упрекают. Просто его мир так богат и так много может ещё дать людям, большим и маленьким, что этот мир, как костерок, надо поддерживать, чтобы тепло от него не давало душам людским застынуть.

Эти строчки были написаны в страшные часы отчаяния и безысходности. Позже, в годовщину ухода Евгения Ивановича, хотелось ими поделиться, чтобы ещё сильнее почувствовали те, кому он был дорог, всю тяжесть этого ухода. Но его сын, Женя, отговорил меня: “Это личное...” Я тогда согласилась. Скажу сразу, что Жене я очень благодарна за понимание, сочувствие, поддержку — сдержанную, строгую. Он очень помог мне выстоять и многое сделать для памяти прекрасного Писателя и Человека. И ещё — его Татьяне, которая в минуты прощания посадила меня рядом с собой у гроба... И я могла ещё побыть рядом с самым дорогим человеком.

“Я буду тебя ждать...”

Это были последние слова, которые я услышала от Евгения Ивановича, когда уходила из больничной палаты в тот тоже ставший последним день. Тогда, казалось бы, ничто не предвещало несчастья. Накануне ему стало худо, но он, как и всегда, перемогался, старался выстоять сам, победить боль и никак не соглашался ехать в больницу. Мы всё же уговорили его, это была пятница, он всячески старался убедить доктора “скорой помощи” подождать до понедельника. Но по дороге к дому, ещё в машине, я просила врача ни в коем случае не соглашаться с ним. И начались сборы. Его старенький аэрофлотский чемоданчик побывал с ним во всех больничных передерягах и каждый раз возвращался домой вместе с хозяином, несомый его большой, сильной рукой. Он две недели дождался своего друга в ординаторской, но так и не смог дожждаться, и за ним пришли другие. Но это — через мучительные две недели.

В чемоданчик сложили всё, как обычно: транзисторный приёмник, кипятильник, книжку о насекомых, которую Евгений Иванович листал дома — он ведь всегда был дружен с миром, населённым большими и маленькими живыми существами: вспомните его “Алюминиевое солнце”, “Белого гуся”, “Жанниха”. Положили мы и запас подсоленных сухариков и галетного печенья — это всегда выручало при обострении болезни. Евгений Иванович держался

молодцом — шутил с врачами, помогал находить нужные вещи, а боль, конечно же, жгла изнутри. Лифт с пятого этажа довёз только до третьего, дальше пришлось идти по ступенькам. И он достаточно твёрдо, не охая и не держась за стену, спустился вниз. Так же стойко перенёс и длинную тряскую дорогу до областной больницы. По дороге пошутил: “И всё-таки, Заяц, я не прошу тебе твоего коварства...” (Ещё до “скорой” я позвонила главврачу А. М. Чухраёву, сообщила, что мы скоро приедем). Но это не было обидно, ведь тогда я так надеялась на то, что помогаю облегчить его страдания.

Встретили нас сразу несколько докторов. Они подбадривали Евгения Ивановича, а он — их, сразу же сделали УЗИ, обрадовались, что поджелудочная в порядке, а потом на лифте поднялись в палату. И почти сразу к нам пришла Галина Николаевна Бондарева, которая и в прежние годы лечила Евгения Ивановича. Миниатюрная, энергичная, всегда улыбочивая, спокойная, уютная и одновременно строгая, знающая, надёжная. Евгений Иванович очень обрадовался ей, обнял, назвал малышкой. Она долго осматривала его, записывала историю болезни, он обо всём рассказывал. Как и всегда, очень образно, красочно, как она сказала — художественно... Что-то вспоминалось из молодых лет, из казахстанской жизни. Потом был рентген, капельница — почти три часа — иглу присоединили к веночке на тыльной стороне ладони, ему было неловко лежать так, но если бы мы знали тогда, что его ждёт впереди почти две недели такого лежания и неподвижности, то есть почти 300 страшных часов!

После капельницы он облегчённо вздохнул, решили, что “обживаться” в палате будем завтра, и в 6 вечера я, почти спокойная, ушла, оставив его подремать. А на следующий день... открыла дверь палаты, и наступил шок: кровать пуста, на полу — тапочки, на стуле — сложенная одежда. На автомате помчалась в ординаторскую, и Галина Николаевна рассказала мне об этой страшной ночи. Первое, конечно, что вырвалось у меня: “Он жив?!..” — “Жив...” — но глаза печально-серьёзные, надежды в них не было. Около часа ночи Евгений Иванович позвал сестру и сам сказал: “У меня прободение язвы...” Было совсем худо, стали готовить операцию, из дома приехал Геннадий Алексеевич Бондарев. Язва была очень большая, её ушили, резекцию делать не стали. И до последнего дня Евгений Иванович находился в реанимации. До 10 июня боролись беда и надежда, верилось, что он — человек сильный, мужественный, терпеливый. Выдюжит, выстоит. Удивительное совпадение — на работе мне попался журнал с крупным, броским заголовком о каком-то другом человеке с такой же фамилией: “Носов выстоял, Носов выстоит!” И сердце встрепенулось радостно. И вдруг — известие о второй операции. Была она после 16 часов 10-го, узнала я об этом поздно вечером, а где-то часов в 17 меня ужалила оса, как будто знак о его боли во время этой операции.

Всё сразу обрушилось, последние тонкие льдинки ушли из-под ног. И всё же врачи говорили: не всё так плохо, может быть, выкарабкаемся.

Пытаюсь представить эти 10 дней до второй операции, когда человек был уже в сознании, и хотя лекарства, капельницы, дыхательные аппараты — всё это переменяло сознание с моментами небытия, он ощущал себя, реагировал на голоса, глазами отвечал на вопросы. Господи, о чём же были его мысли, что вспоминалось, что ощущалось? Не было рядом никого из близких. Ни на минуту не разрешили прийти и побыть рядом, боясь ухудшения. Я приносила лекарства, в оцепенении стояла у дверей, почти рядом с ним. И полное бессилие — не можешь, не поддержишь. А меня тогда поддерживала доктор Татьяна Львовна Малютина. Она и раньше консультировала Евгения Ивановича, когда он лежал на лечении, забегала просто в гости, приносила цветы, фрукты, хорошие книги. Мы троём часто и много говорили о Бунине, всеми троими любимом. Даже мечтали о совместной поездке в Елец — незадолго до этого безвременья, 25 мая, мы встретили её в парке. Обрадовались друг другу, сфотографировались вместе. И она сказала примерно такие слова: “Евгений Иванович, помните, Вы — наше всё! Мы Вас очень любим!” Посоветовала, что он не хочет лечь в больницу, подлечиться. И вот... Конечно, все доктора, и Татьяна Львовна тоже, очень многое сделали для того, чтобы спасти Евгения Ивановича. Но мужская оценка его положения была жёстче. Татьяна Львовна старалась как-то подбодрить меня, утешить, и это прибавляло силы и надежды. Но вот и она не справилась, последний её звонок 12 июня:

“Евгения Дмитриевна, в 17 часов 10 минут Евгений Иванович умер...” И с двух концов телефонного провода наши с ней рыдания.

Сразу разрешили проститься. Как донесли ноги до больницы и как бежала туда – не помню. Как горестная завеса перед душой и перед глазами...

У входа в больницу опять не пропустили, пришлось идти, как сквозь строй, через вестибюль с посетителями и путаться в длинных коридорах. Проплакала у двери, пока не позвали Татьяну Львовну. Прогрохотала рядом обитая железом каталка.

Измученное болью лицо, такое родное, такое близкое. Серебряные волосы... Руки его были ещё тёплые... Сколько умели они, сколько натрудились за все его годы, сколько прекрасных страниц было ими написано! И всё, и ничего не изменишь. Горше минут, кроме смерти мамы, у меня не было в жизни.

С Татьяной Львовной проводили Евгения Ивановича до страшного серого здания морга. Как вернулась домой, куда ушли эти бессознательные часы – не помню. Звонил телефон, кому-то отвечала, с кем-то вместе плакала, ночь без сна и без мыслей – сердце вынуто, душа опустела... Куда себя деть? Спас в те минуты хороший человек, учительница из 58-й школы, Марина Николаевна Перельгина, с которой мы подружились, проводили вместе уроки по творчеству Евгения Ивановича, делились каждый своим. Позвонила она: “Я сейчас приеду”. Сидели на скамейке у дома, плакали, говорили о нём, было тихо, потом поднялся сильный ветер, деревья зашумели, словно в природе родился протест против этой смерти. А потом – дождь. Природа плакала по своему большому другу...

Утром в морге я простилась с Евгением Ивановичем. Положила в нагрудный кармашек маленькую веточку полыни. Мы часто вдыхали вместе её горький, а для нас такой родной запах, и говорили при этом: “Бобренёво...” Наше общее волшебное слово... Там находится монастырь, возле которого (под Коломной) прошли мои детские годы. В 1983 году мы вместе ездили туда, и надо было видеть, как бережно отнёсся к этой поездке Евгений Иванович, какими добрыми и одновременно горестными глазами он смотрел и на мой дом – старенький, обветшавший – когда-то там была школа, где учительствовал мой дед, и на развалины монастыря, поросшие травой (теперь правда, монастырь восстановлен и действует). Тогда мы много снимали родные мне места, одну из фотографий Евгений Иванович сделал так, что я и не видела: стою в слезах у забора, смотрю на родные окошки. А потом мой дорогой Мастер нарисовал картинку по фотографии: весь наш монастырь, дорога к нему, и стою на ней я, тогда счастливейшая из всех, кто когда-то любил.

Возле теперешнего моего дома – целые рощи полыни, и я каждое утро душой обжигаюсь об неё... А на девятый день со дня этой самой страшной смерти я вышла из дома – и плеснул в самое сердце яркой, свежей голубициной цикорией, который мы тоже столько снимали, и потом Евгений Иванович осторожными прикосновениями к фотобумаге чуть оживлял краской эти нежные цветочки, делал их ярче, добавлял голубицины. И снова горечь. Мелькнул в телевизоре берёзы или сосны, похожие на наши, или нависшие над речной водой ракиты – и сердце падает куда-то в небытие. Такой холод внутри, такая пустота, что, кажется, нет и тебя на этом свете... А лучше бы и не было. Выдержит ли сердце эту горькую разлуку? Так одиноко, так тяжело стало ходить по этой опустевшей земле... “Я буду тебя ждать...”

И вот минуло 17 лет... Без Мастера и – с ним рядом, с ним в душе и памяти. Возвращаюсь в те счастливейшие годы.

После второго моего визита к Евгению Ивановичу за экспонатами для музея я оказалась на встрече с ним в Доме политпросвета. Тогда вышел кинофильм “Родник” по “Усвятским шлемоносцам”, был его просмотр, а в начале за кадром звучали строчки из “Овсяницы”. Писатель выступал, отвечал на вопросы, как всегда, интересно, неспешно. Спускаюсь в раздевалку – он рядом с Г. В. Наумовой, секретарём горкома. Она предлагает ему машину, хотя до его дома всего два квартала. Он отнекивается, а увидев меня, говорит: “А вот Женечка меня проводит”. Я обомлела... Галина Васильевна: “Правда, проводите? – Ну, конечно!”

Мы вышли и... пошли в противоположную от его дома сторону. Иду рядом, ни жива, ни мертва. Вопросы его – о работе, о музее, спрашивает, что больше нравится там. Говорил о рушниках, о народных костюмах, что

это интересное дело, хорошая тема. А потом – оба говорили обо всём сразу. Хотелось где-то посидеть, было холодно, поздняя осень. Но – не сложилось, я проводила его до троллейбуса. Протянул на прощанье руку и ладошку мою, как воробушка, накрыл второй рукой. Вот такая бережность, теплота хранилась потом все наши 20 лет. Но он уехал. А я осталась в своей прежней обыденной жизни и почувствовала горькое одиночество. Домой не хотелось. Пришла тоска. Поняла, что жизнь может быть совсем другой, когда тебе интересно, когда душа радуется добрым, умным словам, когда к тебе обращено настоящее тепло родной души.

Очень хотелось ещё повидать его. Мечтала о случайной встрече на улице. И вот из Москвы прислали фотографии по фильму “Родник”. Появился повод. Позвонила. Он согласился: “Давайте совместим полезное с приятным – встретимся в скверике на скамейке”. Скамейка эта цела, теперь прохожу рядом с ней, как возле церкви. Собиралась тщательно: красивое платье, высокие каблукы. Тогда прошла с ним рядом через весь парк на Боевке. Он сидел в сквере, опираясь на лёгкий костылик, ждал. Стали перебирать снимки. “Это я, это режиссёр, это кадр из фильма...” То есть каких-то дополнительных сведений я не получила, да, честно говоря, не за этим пришла... И вдруг слышу его вопрос: “А теперь говорите, зачем пришли?” Не могу сказать, что испугалась, наверное, ждала этого. А он не мог не почувствовать моей внутренней взволнованности и такого неподдельного интереса к себе. И всё же спросила: “Неужели так заметно?.. – Ещё бы”. И я стала путано объяснять, как мне хочется, чтобы жизнь наполнилась новым смыслом, чтобы я могла чувствовать свою необходимость ему, чтобы была возможность поговорить с ним хотя бы изредка, потому что не встречала раньше человека, с которым было бы так интересно.

... Первый раз вместе в Москве... Я приехала на день позже, он встречал меня на вокзале. Холодно, осень, но он нараспашку, мохнатый шарф, радостные глаза. Приехала в счастье. Как здорово, когда тебе рады, когда тебя ждут. Завтрак в кафе, расспросы, будто не виделись не один день всего, а целую вечность. Потом – вместе – по моим командировочным делам. Шли по бульвару Гоголя, затем он ждал меня у памятника. Были на каком-то случайном концерте, играл виолончелист, а смычок у него почему-то был заматан синей изолой. Это было и забавно, и трогательно. А перед концертом встретились в метро: идёт навстречу, улыбается, в руках – мохнатый, пушистый ёжик. Как ещё раньше в Курске: зима, холодно, садимся в автобус – едем к Михал Степанычу Шорохову, а он достаёт из-за пазухи яркого медвежонка. Он умел чувствовать другого человека, и эту мою слабость к игрушкам (а потом конкретно к ёжикам) принял и всегда радовался моей радости. К сожалению, мало теплоты он получал в прежние годы.

Сколько было тёплых, радостных встреч со Степанычем, этим чудесным художником! Есть у меня фото, где они сняты вдвоём, сидят на лежащих брёвнах, одеты оба очень просто, отдыхают, улыбаются. Им было хорошо вместе, умели друг друга слушать, вместе молчать, уважение взаимное было потрясающим! А уж разговоры о книгах, о живописи – слушаешь – не слушаешься. Был у меня день рождения, собрались доброй компанией в его мастерской, я испекла слоёный пирог с рыбой, всем понравилось, гордилась... Михал Степаныч решил подарить что-то из своих работ, стали дружно выбирать. Очень понравился большой камень-скала в море, а Володе Детковуглянулся пейзаж, где среди зелени – ярко-красный куст. Мнения разделились, и художник... подарил оба.

Я уже писала, как рисовался портрет писателя на реке. Михал Степаныч рисовал, а мастер стоял терпеливо и не думал о каком-то увековечивании, а просто помогал своему другу, раз это был его труд, его работа. Мне было очень хорошо с ними, переполняла благодарностью за доверие к себе, за то, что я рядом.

Михал Степаныч нарисовал и мой портрет. Как раз в те минуты, когда на душе было и радостно, и трудно, и когда он показал мне первый вариант – я все свои горести и проблемы увидела в этом изображении... “Что, не нравится?” Я в смятении кивнула, и он тут же стёр нарисованное. А потом появилось на холсте вполне благополучное лицо, похожее, но уже без моего внутреннего разлада. Но я хорошо помню и удивляюсь тому, как сумел художник уловить моё смятенное состояние.

А потом — горестные минуты похорон нашего дорогого Степаныча. Стояла во дворе его дома, ждала, ждала, пошёл проститься со своим другом Евгений Иванович — голова опущена, руки за спиной, сумка через плечо. Погашенный, с горькими складками у губ. Потом, бывая на могиле его мамы, Полины Алексеевны, всегда заходили поклониться Степанычу.

* * *

Очень хотелось что-то подарить ему. Шли мимо парфюмерного магазина, забрели погреться. В воздухе носились французские ароматы. Какой-то рыбок к кассе: “Мне, пожалуйста, одеколон “Эжен”. Тогда это было дорого, он рядом, улыбается кассирше: “Не берите у неё деньги, она сумасшедшая...” Но запах этот стал для нас родным. И сейчас — вдруг почувствую где-то — голова кружится.

* * *

Когда пришёл журнал “Наш современник” с юбилейными материалами, и он принёс его с собой — так хотелось прочитать их сразу! А ведь кругом снег, холодно. Мечтали, чтобы наши деревья в лесу приютили нас и спрятали. Но тем не менее холодно с ним не было никогда. Тёплый взгляд, голос, доброта и внимание — плюс всегда с нами термос с горячим кофе и бутерброды — вкуснее, лучше я ничего не пробовала. Как-то ездили в Заплаву на электричке. Перед поездкой дома мне было плохо, едва не дошло до “скорой помощи”, но пересилила себя и потом была вознаграждена прекрасными зимними впечатлениями: заснеженные домики в деревне, чистые белые сугробы, фотоаппарат у него в руках, а потом — кофе и вкуснейшие бутерброды с икрой минтая.

Мы всегда брали с собой два фотоаппарата, и на оба делали снимки — столько в моих альбомах прекрасных курских пейзажей!

Или поход за Тускарь, когда с восторгом смотрели на высящийся на холме город, чувствовали себя настоящими путешественниками. А на снегу я подетски выкладывала узоры из апельсиновых корочек... Было ярко и весело. Мою детскую восторженность он принимал с радостью. После подаренного ёжика-талисмана появились другие Лёлеки-Болеки, как он их называл: уточка из грецкого ореха, у которой была очень трогательная головка, сделанная из сливовой косточки; серьёзная, основательная мышь в кружевной накидке; забавный весёлый Винни-Пух и — почти как в названии книжки о нём — все-все-все... Он вспомнил свои детские поделки, которые делал в трудные довоенные годы, и его мастеровитые руки привычно вырезали забавные фигурки из дерева, склеивали, оживляли их — каждый Лёлек был со своим характером, но обязательно добрый.

Теперь большая часть этих фигурок — в витрине Литературного музея, а некоторые ездят со мной в “командировку”. В том числе в школы, где я рассказываю ребятам о нашем дорогом Мастере. И это нисколько не умаляет серьёзности его великолепного творчества, а позволяет раскрыть тонкую и нежную душу писателя, которую он и воплощал на страницах своих прекрасных произведений. А его игрушки-поделки с восторгом воспринимают и взрослые. Как-то пришло приглашение выступить на конференции “Уездная провинция в творчестве русских писателей”, рассказать о творчестве Мастера. Я посмотрела на свой маленький театр из Лёлеков: дедушка Федя, баба Феня, их внучата, барашек — чем не провинция, русская деревушка в миниатюре?! Взяла их с собой. И надо было видеть, как восторженно рассматривали и почти... играли с ними взрослые, умудрённые всяческим научным и литературным опытом участники конференции!

* * *

Когда-то в письме к нему я писала: “Перебираю светлые бусины наших свиданий...” Тогда это было в ожидании новых встреч, а теперь — в память о прежних.

“Здравствуй, родненький!..” — эти его слова и сейчас звучат во мне, когда проезжаю мимо нашей тропинки. Он подал мне свою большую ласковую руку, и начался путь в счастье.

К 36 годам я уже знала, что человека нужно любить для него, а не для себя, и тогда ответное чувство будет неизбежным. К такому человеку я шла всю жизнь. Встречались люди, всё более интересные для души. И вот эта встреча по музейной работе стала как бы итоговой в моей жизни. Беседа наша, длившаяся вместо пяти выделенных минут два с половиной часа, как лучом высветила другую жизнь, не похожую на мою прежнюю. Каждое его слово падало в душу, как зёрнышко радости и тепла, а их было много, и всходы не заставили себя ждать. Родилась надежда, что всё в жизни ещё сбудется. Как удивительные гриновские паруса... И, конечно, очень верна легенда о двух половинках, которые предназначены друг для друга.

Первые встречи я помню по минутам, будто светится экран в душе, на котором вижу его лучащиеся добром глаза, серебряные волосы, походку, которую ни с кем не спутаешь. И как же пело всё в душе при его появлении! Рядом с ним был... мой Дом — будь это наша тропинка или любимая Боевка с нашими скамейками, на которых читались рукописи новых рассказов, или старые улочки, где мы угадывали настроения домов: один грустный, покосившийся, другой чему-то тихо радуется — да у него же покрашены ставни! — третий почему-то недоволен... Тогда и появился мой первый козырь: “Видите, как хорошо вместе!..” А уже на следующий день его слова: “Я еле дождался вечера...” И говорили, говорили — о любимых художниках, о любимых песнях, о детстве. Казалось, что до этого никто другой с нами не говорил так, просто не мог почувствовать этого.

А ещё раньше, при первом моём приходе к нему из музея, когда мне был задан вопрос, откуда мы приехали в Курск, и после ответа, что из подмосковной Коломны, где Бобренёвский монастырь, он сказал, потянувшись за атласом на одной из книжных полок: “Посмотрим, посмотрим, где тут наше Бобренёво...” Это “наше” просто перевернуло мне душу. Теперь я ещё лучше понимаю, как этот человек умел, а главное, хотел проявлять такой интерес к другому. А когда в 1983 году мы вместе ездили туда — в Коломну, в Бобренёво, в книжном магазине он сразу увидел и подарил мне небольшой эстамп, где среди церквей был... мой дом. Это тоже надо было понять, почувствовать.

“Не бывает на свете стран слаще крыльца родного дома...” — пишет он в одном из рассказов. Это ощущение было нашим общим. Стоя в слезах у своих окошек, вспоминая невозвратимое, родное, я не заметила, как он сфотографировал меня — несчастную, зарёванную... А на другой карточке — я с пирожком и стаканом кваса в руке — глаза смеющиеся, рот жующий, и уже не стеснялась этого, как в первые дни: казалось, невозможно рядом с таким человеком быть приземлённым. Он всё делал красиво, с достоинством, серьёзно и мудро. Так писал — иной раз по 20 экземпляров одной и той же страницы; так рисовал: каждая веточка, каждая былиночка выписаны отдельно; так разматывал леску, если запутывалась, — всю, до последнего узелка. После поездки в Коломну, где было одно трепетное дыхание на двоих, остались грустные, но такие родные фотокарточки — и мой дом из раннего детства, и почти разрушенный монастырь. Но из них родилась картинка, как он сам их называл — стою я, уже более чем взрослая, на фоне своего Бобренёва, но не разрушенного, а очень весёлого, похорошевшего, что потом и случилось: ездила туда уже одна. Монастырь восстановлен, всё ухожено, а в моём доме... живут монахи.

* * *

Другое наше путешествие — в Спасское-Лутовиново, к Тургеневу, — тоже было чудесным. Ранним утром на легкой машине, как-то быстро и весело собрались, с нами ездили Пётр Георгиевич Сальников и Паша Никитин, журналист. Дорогой каких только разговоров общих не было! И о книжках, и о предстоящей встрече с нашим классиком, и о его героях, и просто о жизни. Настрой у всех праздничный, светлый. Так всё было и в Спасском: не просто экскурсия и рассказ о писателе, а ещё и обошли мы все дальние уголки усадьбы. А потом общий завтрак на тургеневской траве, окрестности

исадыбы — с лугами, берёзами, незабудками. И обратная дорога домой. И всё бы хорошо, но здесь впервые закрался страх за его здоровье: вдруг, уже под Курском, ему стало очень плохо — боль, слабость. Но как-то обошлось. Человек мужественный, сильный, мудрый, он умел справляться с болью, умел терпеть, не докучать никому, достойно переносить все трудности, которые сопровождали его всю жизнь, с самой войны. И от этого к нему все отосились ещё лучше, заряжаясь энергией и стойкостью. А мне было очень-очень горько оттого, что ему трудно, и, насколько могла, я все эти годы старалась помочь, облегчить хоть чем-то его боль.

Летом 1982-го я уезжала в Карелию и попросила подарить мне какой-нибудь талисман с собой. Мне был подарен маленький самодельный ёжик из шишки, с него и началась многим известная коллекция. Дороже подарка у меня, наверное, не было. Крохотный, тёплый, уютный — он помещался в ладошке и почти не покидал её.

А потом я улетала на семинар в Казань, очень не хотелось расставаться, в самолёте перечитывала “Во субботу, день ненастный...” И он опять был рядом... Было много людей, выступлений, экскурсий, всё было интересно, но, видимо, через глаза, через дымку моих мыслей о нём чувствовалось моё состояние, и один человек — директор музея из Ставрополя — сказал: “У вас впереди большая любовь...” И она продлилась до самой... его берёзки... Но до этого были долгие, но такие короткие 20 лет.

Радость встречи после поездки, его расспросы, мои рассказы. О Волге, музеях и памятниках, творческих людях. Нам обоим очень нравилось вспоминать детство. Когда мы ездили на его родину, в Толмачёво, он подвёл меня к могиле своего отца и тихо сказал: “Вот, Иван Георгиевич, я к тебе Жечу привёл...” Для меня это был потрясающий акт величайшего доверия... А на глазах у Мастера были слёзы...

А потом мы кормили маленького жеребёнка, бродили у реки по лугу. Как горестно, что теперь там хозяйничают чужие “новые” люди, и этого уже не изменишь. Но живёт на картинке нарисованная им родная хата, которую он частенько рассматривал в бинокль со своего балкона: “Ну, дедова же хата!...” — говорил он Мише Еськову, как он пишет об этом в воспоминаниях. А на страницах рассказа “Жаних” маленький трогательный собачонок Жучок продолжает своё путешествие по деревне, так похожей на Толмачёво. В эти места мы наведывались не раз — и во время половодья, и в летнюю пору, и под осень, когда ездили в недалёкую от него Клюкву по грибы. Каждый грибной наш поход был праздником. Обязательно находились любопытные моменты, что-то забавное, словно игра в ассоциации, которые возникали порой совершенно синхронно у обоих, и этим хотелось поделиться. Рядом с ним я всё видела через какую-то волшебную призму. В лес входили, как в родной дом. Как-то у Старшинова прочитала стихотворение о том, что деревья ему кажутся одушевлёнными, он очеловечивал их. Так и мы: жалели сломанную берёзку, любовались нашим Добрыней — так окрестили дуб на клюквинской поляне — за его могучесть, неохватный ствол, раскидистую крону.

А грибы для нас тоже были дружочками (это одно из самых любимых его слов). Равовались каждому, почти здоровались с ними, было весело, как в детской игре.

Однажды, возвращаясь из леса, стали считать, сколько видов грибов встретилось, — оказалось, 25! Среди них даже олени рожки: почти прозрачные, ветвистые, очень любопытные грибочки. И всех он, как и растения, знал по имени: “Как зовут, как фамилия?” И если, что было крайне редко, не угадывал, сразу же дома обращался к справочнику. Как-то мне была подарена большая книга о грибах, но там некоторых видов не оказалось, и они с Женей вклеили несколько страничек с нарисованными им экземплярами и с подробным их описанием.

Хранится у меня и сделанный им конверт — вырезанный, склеенный, — как настоящий, с цветной картинкой: сию я под ёлкой с грибом в руке... Такие конвертов было несколько, в одном из них я послала письмо тётушке — она никак не могла понять, как я туда попала. Есть и открытка, где я срезаю гриб, а рядом со мной — симпатичный компьютерный ёжик.

Потрясающее совпадение: читаю по работе 3-ю часть трилогии Ю. Германа “Я отвечаю за всё”. Там есть строчки о Вагаршаке и Любе: “Вдвоём им было легко и весело, с каждым днём, с каждым часом она всё больше, всё

глубже и серьёзнее любила этого человека, который ни с того ни с сего начинал вдруг рассказывать ей истории о повадках дельфинов, или о муравьеде, или о летучей мыши. Глаза его при этом вспыхивали, всё ему было интересно, всё казалось до конца ещё не понятым, он умел радостно удивляться...»

Такое радостное удивление перед всем завещал нам Мастер. Это спасает от будней, от боли и горечи, от любых обид. Узнавание, познание всего сущего было для него таким же главным в жизни делом, как и творчество. А может быть, и важнее, потому что второго без первого просто не могло быть. Любой вопрос был ему подвластен, причём отвечал всегда серьёзно, обстоятельно, но обязательно так, чтобы его поняли. И бесконечно интересно умел рассказывать — заслушаешься!

Было очень дорого для меня то, что он старался приобщить меня ко всему, что составляло его труд, его творчество. Часто рассказывает что-то: «Там у меня... — Это так было на самом деле? — Нет, это начало нового рассказа».

Конечно же, всё бралось из жизни: из наблюдений, впечатлений, воспоминаний. Но, как и другим писателям, ему необходим был и художественный вымысел. Прежде чем появился последний рассказ «Фагот», он много раз вспоминал печальную историю мальчика Вани, особенно когда бывали в том районе, где это произошло, — в сквере у Центрального рынка и Георгиевской аптеки. На самом деле Ваня погиб, а в рассказе писатель оставляет нам надежду.

Я бывала на многих литературных семинарах курян, на всех его творческих встречах, старалась всё записать, часть этих записей вошла в книгу «Мастер с нами». Всегда было очень интересно слушать его ответы на вопросы: глубокие, серьёзные, благожелательные. О себе он говорил всегда сдержанно, сжато. Встречи длились иногда по несколько часов. Особенно запомнилась та, что была в тогдашнем сельхозинституте. Лица слушателей были очень добрыми, даже счастливыми от такого общения, это было приятно и дорого обоим. Радостно было видеть чувство удовлетворения на его лице, в глазах. Осознание своей необходимости, того, что тебя любят, принимают.

В Москве мы вместе бывали в редакциях журналов, особенно тёплыми были встречи в журнале «Москва» с ответственным секретарём Шурой Васильевой, которая трепетно относилась к его творчеству и к нему самому. Были в «Литературной газете», разговаривали с Ирмой Мамаладзе, с Валентиной Помазневой, которая потом тяжело заболела и очень рано умерла. Евгений Иванович очень горевал тогда, послал большую телеграмму с соболезнованием. Каждый раз было видно, как хорошо, с уважением, относятся люди к нему. Любят, гордятся, понимают. Это были дружески-деловые отношения, о которых раньше приходилось только читать в хороших книжках.

Интересны были встречи с В. Г. Распутиным. Отношения двух писателей были более чем тёплыми и дружескими, хотя Евгений Иванович был старше на 10 лет. Распутин высоко ценил талант старшего друга, мы не раз приводили в книгах его слова. А как замечательно он говорил о Мастере в интервью, которое записали в Москве, в Союзе писателей на Комсомольском в 1984 году! Мне тогда было очень интересно и волнительно быть среди этих людей, слушать их добрые слова. А ещё раньше мы были в гостях у Валентина Григорьевича, человека удивительно скромного и деликатного. Наверное, и это сближало их: оба чужды помпезности, громких фраз, тщеславия. Такая же супруга у нашего хозяина — тихая, скромная, очень хлебосольная. Обстановка в квартире — самая обычная, недорогая, всё только самое необходимое и, конечно же, море книг. Друзья много говорили о жизни, о литературе. Так хотелось бы воспроизвести их беседы, но для этого надо было делать запись на диктофон, а их тогда ещё не было. Записывать что-либо на бумагу при живых собеседниках — только во вред самой беседе. Потому Евгений Иванович не очень-то жаловал интервью, ведь живое, устное слово очень сильно отличается от письменного. Как ни скажи — сердечно, грамотно — всё равно на бумаге это неизбежно исказится, а язык Мастера настолько художественный, настолько тщательно он над ним работал, что его называют златотканым.

Сколько же сомнений у меня было и есть по поводу этих записей!.. Но сейчас, спустя полгода, перечитала и рада, что они есть. Получится книжка, или не решусь на неё... Эти слова где-то останутся, и прочитавшие их вспомнят обоих, почувствуют серьёзность и счастье любить.